



Магистраль. Коллекция

АНТОН ЧЕХОВ

**Святочные истории.
Русская классика**

«ЭКСМО»

2026

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Чехов А. П.

Святочные истории. Русская классика / А. П. Чехов — «Эксмо»,
2026 — (Магистраль. Коллекция)

ISBN 978-5-04-255724-8

Нет ни в чём уверенности в сегодняшнем мире, кроме того, что Рождество точно наступит. Вот праздник будет, и всё тут: замрёт в торжественном восторге ночь, воздух застынет морозом, три великолепных царя пойдут к вертепу, а пастухи будут ликовать от самой большой радости: Христос родился! Семья соберётся вокруг угощений дома, у очага, под ёлкой, густой как чаша, с бокалом имбирного сбитня с мёдом. Святочные рассказы – это о днях от Рождества до Крещения, русскими классиками прожитые и воспетые, божьему чуду, спасшему мальчика от волков (как у Поселянина), признательные.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-255724-8

© Чехов А. П., 2026
© Эксмо, 2026

Содержание

Константин Победоносцев	6
Рождество Христово	6
Иван Шмелёв	8
Рождество	8
Святки	13
Василий Никифоров-Волгин	27
Серебряная метель	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Святочные истории. Русская классика

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Константин Победоносцев

Рождество Христово

Рождество Христово и святая Пасха – праздники по преимуществу детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых: *«Аще не будете яко дети, не имате внити в царствие Божие»*. Прочие праздники не столь доступны детскому разумению, и любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению...

Однако же и из двух названных больших праздников – дитя скорее поймет и примет простым чувством Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестинскими – уединенный вертеп – ясли, обставленные теми домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, – в яслях повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с ясною улыбкой материнского счастья – три великолепных царя, идущих за звездой к убогому вертепу с дарами – и вдали на поле пастухи посреди своего стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение младенцев в Вифлееме – потом путешествие святого семейства в Египет – сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для детского слуха и как скоро сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми радостями его, возвращается в душу то же таинственное ожидание чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут детского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, – стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у которого сживала старуха няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение – ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не было ожидание подарков – нет, – чуялось душе точно, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный и что-то великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь... Как все во мне тихо, как все во мне торжественно! Как все во мне дышит чувством прежних лет, – и с какою духовною алчностью ожидаю я торжественного утра. Это чувство – драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к Богу и непосредственнее чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь – и все, чем красен для человека мир Божий.

Но это ожидание – радости великой и великого торжества – у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутой наслаждения и удовлетворения, что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром – и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские сны: существенность для ребенка – не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что существенность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каждый день, – только, освещенные праздничным светом, лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее, игры одушевленнее. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером: как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно...

О великая таинственная ночь! О светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе верующей, – стало быть я забуду свое детство, свою жизнь и самую вечность... ибо что иное вечность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом Божиим!

Иван Шмелёв

Рождество

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего – подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он – редко, выпадет – и стоял. А у нас повалит, – свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах – сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях – вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит – и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай – увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса... – вот радость!..

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженных свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалют, словно бревна, – мороженные свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило.

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь – рябчик? Пестренький такой, рябой... ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется – дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелькой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас – обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупают красного товару, ситцу – и домой, чугунок. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, – там лошадьми торговали, – стон стоит. А площадь эта... – как бы тебе сказать?.. – да попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся – в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженные свиньи – как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает... – розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, – наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой – поросятый ряд, на версту. А там – гусиный, куриный, утка, глухари-тетерки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, – большие сани, – везут-смеются. Горой навалют: поросят, свинины, солонины, баранины... Богато жили.

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, – чаша. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горя-чи!..» В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, – душисто, сладко. стакан – копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, – пальцы жжет.

На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар – клубами, как из паровоза. Калачик – льдышка. Ну, помакаешь, помягчает. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо – в дыму – лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадетсЯ, наступишь – хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..

В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто – дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... – и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия миру Свет Разума...

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жметсЯ. За мерзлым стеклышком – знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. ПрижалсЯ к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая, Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со звездойо путеше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурьсЯ... Видишь – кормушка, с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит? Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стро-

пилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот, подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты спрашиваешь – впустят? Ну конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да. Рождество. И – на душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедem... Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет: «Выкормочек мой... растешь»... Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, – свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, – блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется – свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле – оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, – звездочки, в лесу как будто... А завтра!..

А вот и – завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклахросло буграми. Солнце над Барминихиным двором – в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет звезду на палке – картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, – свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.

– «Волхи же со Звездой питушествуют!» – весело говорит Зола.

Волхов приючайте,
Святое встречайте,

Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет...

Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же наш...

Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

– Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! – говорит Зола. – Сейчас будет святое приставление! – Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. – А кузнечонок у нас царь Ирод будет!

Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.

– Подымай меч выше! – кричит Зола. – А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:

Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари.
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!

Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

– Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладывают – не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечером спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крикают.

Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это – «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

– Береги шубы! – кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье... – должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними – звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.

Святки

Птицы божьи

Рождество...

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —

Христос рождается – славите!
Христос с небес – срящите! —

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад – в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, – Рождество.

В детстве таким явилось – и осталось.

Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху – неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы... а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, – это осталось в памяти.

– А где они живут? – спрашиваю я няню.

– За окнами.

За окнами... За окнами – чернота и снег.

– А почему у кормилицы сын мошенник?

– Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

– А завтра они придут?

– Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрип-скрип-скрип. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегая в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свиной, гусем и поросенком с кашей... – после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные – в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы – не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая борода торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, – «собаки их объели», – когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

– Пискун ты, Пискун... пропащая твоя головуш-ка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.

– А Пискун кто? – спрашивал я у няни.

– Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, – он охотно дает пощупать, – стянут натуго ремешком, – «так, для тепла пристроил!» – похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».

– Какой Антон?

– А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».

Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на покой.

Дальше – бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полосы с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой – розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полосы. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек.

– Чего уж убиваться-то так, нехорошо... праздник такой!.. – жалеет ее кухарка. – Господь милостив, не оставит.

Мужа у ней задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:

– Господь и на каждую птицу посылает вон, – говорит он ласково и смотрит на свой рукав, – а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да... Вон, руки нет, а... сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.

Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.

Все больше и больше их. Разные старички, старушки, – подходят и подходят. Заглядывает порой Василь-Василич, справляется:

– Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут... десять, пятнадцать... осьмнадцать душ, так.

– Зачем – помер! – говорит Семен. – Его племянник в деревню выписал, трактир открыл... для порядку выписал.

Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует – «выдувает нечистого»? Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:

– Что-о, жрать пришли?! А крещение огнем примаете?.. Сказал Бог нечестивым: «извергну нечистоту и попаю!» Взы!.. – взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке.

Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится:

– Ох, милостивец... чегой-то скажет!..

– Не скажу! – кричит на нее монах. – Где твои пироги?

– Сейчас скажет, гляди-ка, – говорит, толкая меня, Семен.

Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим – за печку и кричит неподобающим голосом:

– Будут пироги – на всех будут сапоги! Аминь.

Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушину:

– Кури-коко тата, я сирота, я сирота!..

Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку, – «с морозцу-то, Ленья, промахни!» Монах и бутылку крестит. И все довольны. Слышу – шепчут между собой:

– Ласковый нонче, угощение сразу принял... К благополучию, знать. У кого не примет – то ли хозяину помереть, то ли еще чего.

– А поросятина где? – страшно кричит монах. – Я пощусь-пощусь, да и отошусь! Думаете, чего... судаки ваши святей, что ли, поросятины? Одна загадка. Апостол Петр и змею, и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете – ничего и не понимаете. Бззы!..

И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками.

Вбегает Василь-Василич:

– Опять Ленья пожаловал? Я тебе раз сказал!.. – грозит он монаху пальцем, – духу чтоб твоего не было на дворе!

– Я не на дворе, а на еловой коре! – крестит его монах, – а завтра буду на горе!

– Опять в «Титах» будешь, как намедни... отсидел три месяца?..

– И сидел, да не посидел, а ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в книгах! – ерзая, говорит монах. – Христос ныне рождается на муки... и в темницу возьмут, и на Кресте разопнут, и в третий день воскреснет!

– Что уж, Василь-Василич, человека утешать... – говорит Семен, – каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как свайщика Игната придавило, за неосторожность. Так и каждому.

– Наверх лучше не доступай! – говорит Василь-Василич, – все равно до хозяина не допущу, терпеть не может шатунов.

– Это уж как Господь дозволит, а ты против Его воли... вззы! – говорит монах. – Судьба каждого человека – тонкий волосок, петушинный голосок!

Василь-Василич сердито машет и уходит. И все довольны.

Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица-румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. Почему она все плачет? Рассказывает – и плачет-причитает. Что у ней сын мошенник? И кто-то «пачпорта не дает», а ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют:

– Ты, Настюша, прошение строгое напиши и к губернатору самому подай... так не годится утешать, хошь муж-размуж!

Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит:

– Репка, не люби крепка! Смой грехи, смой грехи!..

Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону.

– Да что ты, батюшка... да какие же я грехи?

– У всех грехи... У кого ку-рочки, а у тебя пе-ту-хи-и!..

Кормилица бледнеет. Кухарка вскрикивает – ах, батюшки! и падает головою в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой.

– Для Христова Праздника – всем прощенье! – благословляет монах всю кухню.

И все довольны.

Скрипит промерзшая дверь, и входит человек, которого называют «Подбитый Барин». Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает и видно ситцевую под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем, с дорванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые прюнелевые, для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ерзают там с мороза. Барин глядит свысока на кухню, потягивает, морщась, носом, ежится вдруг и начинает быстро крутить ладонями.

– Вввахх... хха-хаа... – всхрипывает он, я слышу, и начинает с удушьем кашлять. – Ммарроз... вввахх-хха-хха!..

Прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать «Стрелочка». Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза.

– Свистать-то, будто, и не годится, барин... чай, у нас образа висят! – говорит укоризненно Марьюшка.

– Птица какая прилетела... – слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина.

Он все посвистывает, но уже не «Стрелочка», а любимую мою песенку, которую играет наш органчик – «Ехали бояре из Нова-Города». И вдруг выхватывает из пальто письмо.

– Доложите самому, что приехал с визитом... барин Эн-та-льцев! – вскрикивает он важно, с хрипом. – И желает им прочитать собственноручный стих Рождества! Собственно-ручно, стих... ввот! – хлопает он письмом.

Все на него смеются, и никто не идет докладывать.

– На-роды!.. – дернув плечом, уже ко мне говорит барин и посылает воздушный поцелуй. – Скажи, дружок, таммы... что вот, барин Энтальцев, приехал с поздравлением... и желает! А? Не стесняйся, милашка... скажи папа, что вот... я приехал?..

– Через махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего срока, когда наверх позовут! – говорит ему строго кучер. – Ишь, птица какая важная!..

– Все мы птицы небесные, создания Творца! – вскрикивает, крестясь на образ, – и Господь питает нас.

– Вот это верно, – говорят сразу несколько голосов, – все мы птицы Божьи, чего уж тут считаться!..

Приглашают за стол и барина. Он садится под образа, к монаху. Ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крикает по-утиному и начинает читать бумажку:

– Слушайте мое сочинение – стихи, на праздник Рождества Христова!

Вот настало Рождество,
Наступило торжество!
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы!

Всем очень нравится про волхвов. И монах говорит стишки. И потом опять барин, и кажется мне, что они хотят показать, кто лучше. Их все задорят:

– А ну-ка, как ты теперь?..

Наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных. Слышу, кричит отец:

– Ну, парад начинается... подходи!

Василь-Василич начинает громко вызывать. Первым выходит барин. Доходит наконец и до монаха:

– Иди уж, садова голова... для-ради такого Праздника! – говорит примирительно Косой и толкает монаха в шею. – Охватывай полтинник.

– Ааа... то-то и есть. Господь-то на ум навел! – весело говорит монах.

Получив на праздник, они расходятся. До будущего года.

Ушло, прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шаром. И те же леса воздушные, в розовом инее поутру. И галочки. И снега, снега...

Обед «для разных»

Второй день Рождества, и у нас делают обед – «для разных». Приказчик Василь-Василич еще в Сочельник справляется, как прикажут насчет «разного обеда»:

– Летось они маленько пошумели, Подбитый Барин подрался с Полугарихой про Иерусалим... да и Пискуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придут-с, от них не отделаешься.

– Дурак приказчик виноват, первый надрызгался! – говорит отец. – Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля Божия... помни: для Праздника кормить.

Из них и знаменитые есть.

– Вам – да помирать-с! – восклицает Василь-Василич, стреляя косым глазом под потолок. – Кому ж уж тогда и жить-с? Да после вас и знаменитых никого не будет-с!..

– Славные помирают, а нам и Бог велел. Пушкин вон, какой знаменитый был, памятник ему ставят, подряд вот взяли, места для публики...

– Один убыток-с.

– Для чести. Какой знаменитый был, а совсем, говорят, молодой помер. А мы... Так вот, сам сообразишь, как-то. У меня дел по горло. Ледяной Дом в Зоологическом не ладится, оттепель все была... на первый день открытие объявили, публика скандал устроит...

– В новинку дело-то. Все уже балясины отлили, и кота Ондрюшка отлил, самовар слепили и шары на крышу. Горшки цветочные только на уголки, и топку в лежанке приладить, чтобы светилося, а не таяло. Подмораживает крепко, под двадцать будет, к третьему дню поспеем. В «Листке» про вас пропечатают...

Все у нас говорят про какой-то «Ледяной Дом», куда повезут нас на третий день. Скорняк Василь-Василич, по прозвищу Выхухоль, у которого много книжек Морозова-Шарапова, принес отцу книжку и сказал:

– Вот, Сергей Иванович, про замечательную историю, как человека заморозили и Ледяной Дом построили. В Санпитебурге было, доподлинно.

С этого и пошло.

Отец отдает распоряжения, что к обеду и кого допускать. Василь-Василич загибает пальцы. Пискун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий-обжора Ломшаков, который протодьякону не удаст и едва пролезает в дверь; знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьев, – таких насвистывает! звонарь от Казанской, Пашенька-блажененькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок-цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушку от водянки, – тараканьими порошками поднял, а доктора не могли! – Трифоныч-Юрцов, сорок лет у нас лавку держит, – разные, «потерявшие себя» люди, а были когда-то настоящие.

– Этот опять добиваться будет, «барин»-то... особого почета требует. Прикажете допустить? – спрашивает Василь-Василич.

– Господин Энтальцев? Допусти. Сам когда-то обеды задавал, стихи сочиняет. Для Горкина икемчику, и «барину» поднесешь, вот и почет ему.

– Да он этого все требует, горлышко-то с перехватцем, горькой! Прикажете купить?

– Знаю, кому с перехватцем. Довольно с вас и икемчику. Всем по трешнику, как всегда. Ну, барину дашь пятерку. Солодовкину ни-ни, обидится. За скворца не взял да еще в конверте вернул. Гордый.

Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую, рождественскую, скатерть, и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто: толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, солевые снежки, кильки и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка шато-д-икема, для знаменитого нашего плотника – «филенщика» – Михаил Панкратыча Горкина, который только в праздники «принимает», как и отец, и для женского пола.

Кой-кто из «разных» приходит на первый день Рождества и заночевывает: солдат Махоров, из дальней богадельни, на деревянной ноге, Пашенька-преблаженная и Полугариха. Махорова угощают водкой у себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывают к гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Ерусалим, и каких она страхов навидалась.

Идут через черный ход; только скорняк Трифоныч и Солодовкин – через парадное. Барин требует, чтобы и его пустили через парадное. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Василь-Василичем:

– Я Валерьян Дмитриевич Эн-та-льцев! Вот карточка...

И все попрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в прюнелевых полсапожках, дамских. На нем красная фуражка, под мышкой трость. Лицо сине-багровое, под глазами серые пузыри. Он передергивает плечами и говорит на крышу:

– О-чень странно! Меня сам Островский, Александр Николаич, в кабинете встречает, с сигарами!.. Черт знает... в таком случае я не...

Василь-Василич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках; лицо у него красное, веселое. Подмигивает-смеется:

– Знаменитый Махоров, со всякими крестами, и то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе – так через парадное. А вы идите тихо-благородно, усажу, где желаете... только не скандальте для праздника.

– На-ро-ды!.. – говорит барин подрагивающими губами. – Впрочем, не место красит человека... много званных, да мало избранных! Пройдем и через кухню... Передай карточку, скажи – Эн-та-льцев!

– Да вас и без карточки все знают, при себе держите, – говорит дружелюбно Василь-Василич и что-то шепчет барину на ушко. Тот шлепает его по спине и, попрыгивая, проходит кухней.

По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках «разные» и дожидаются угощения. Вот Пискун. У него такой тонкий голос, что мне все кажется, – вот-вот перервется он. На Пискуне бархатная кофта, с разными рукавами, и плисовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком: они отморожены, и вместо них – «только дырки». Должно быть, он и голос отморозил. Рыжая борода суется из платочка, словно она сломалась. Когда-то он пел в Большом театре, где мы недавно смотрели «Роберт и Бертрам, или два вора», но сорвал голос, и теперь только по трактирам – «уж как веет ветерок, из трактира в погребок». Все его жалеют и говорят: «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пискуна всегда плачут, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек.

Под образом с голубенькой лампадкой сидит знаменитый человек Махоров, выставив ногу-деревяшку, похожую на толстую бутылку или кеглю. На нем зеленоватый мундир с золотыми галунами, по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хохлом он мне напоминает нашего Царя-Освободителя. Он недавно был на войне добровольцем и принес нам саблю, фески и туфельки, которые пахнут туркой. Сидит он строгий и все покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам – «поцеловала пулька под Севастополем». Все его очень уважают, и я тоже, словно икона он. Отец говорит, что у него на груди «иконостас, только бы свечки ставить». С ним Полугариха, банщица, знаменитая: ходила пешком в старый Ерусалим. Она очень уж некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками; и еще кривая: «выхлестнули за веру турки». – «Вот когда страху-то навидалась! – рассказывает она. – Мы-то плачем, у Гроба Господня, а они с мечами... да с бечами... – хлесть-хлесть! И выстегнули. И батюшка-патриарх с нами, в голос кричит, а они – хлесть-хлесть! Ждут демоны, – не сойдет огонь с неба, – всем нам голову долой! Как пал огонь с небес, так все лампадки-свечечки и

загорелись. Как мы вскричим – «правильная наша вера!» – а они так зубами и заскрипели. А ничего не могут, такой закон».

Рядом с ней простоволосая Пашенька-преблаженная, вся в черном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки, и стала она блаженненькой. Сидит и шепчет. А то и вскрикнет: «соли посолоней, в гробу будешь веселей!» Так все и испугаются. У нас бояться, как бы она чего не насказала. Сказала на именинах у Кашиных, на Александра Невского, 23 ноября: – «долги ночи – коротки дни», а Вася ихний и помер через неделю в Крыму, чахоткой! Очень высокого роста был – «долгий». Вот и вышли «коротки дни».

Еще – курчавый и желтозубый, Цыган, в поддевке и с длинной серебряной цепочкой с полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него и все говорит – цыц! Он показывает ей серебряный крест на шее и все кланяется, – боится и он, должно быть. Трифоныч, скорняк Василь-Василич, который говорит так, словно читает книжку. Потом, во весь сундук, певчий Ломшаков. Он тяжело сопит и дремлет, лицо у него огромное и желтое – от водянки. Еще, разные. Но после солдата интересней всего – Подбитый Барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и все насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и делает так губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня – как будто гость: на нем серенький пиджачок отца, брюки навывпуск, а на шее голубенький платочек. А то всегда в поддевке.

Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый. Все поднимаются.

– С праздником Рождества Христова, милые гости, – говорит он приветливо, – прошу откушать, будьте, как дома.

Все гудят: «с Праздничком! дай вам Господь здоровьица!»

Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку икемчика. Василь-Василич наливает из графинов. Барин быстро трет руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет.

– Ну, а семью семь? Врешь, не тридцать семь, а... сорок семь! Гм...

Отец чокается со всеми, отпивает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василь-Василича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять «торжественный стих на Рождество»:

С Рождеством вас поздравляю
И счастливым быть желаю,
Не придумаю, не знаю, —
Чем вас подарить?..
Нет подарка дорогого,
Нет алмаза золотого,
Подарю я вам... два слова!
Ни-когда!
На-всегда!

– Тут шарада и каламбур! – вскрикивает он радостно: – печаль – ни-когда, а радость – на-всегда!

Всем очень нравится, – как он ловко! Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василь-Василич сдерживает:

– Господин Энтальцев, не спеши... еще велик день!

Энтальцев, с селедкой в усах, подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо: «мальчик милый, будь счастливый... за твое здоровье, а там хоть... в стойло коровье!» Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться.

Его сажают рядом с солдатом и Полугарихой, на почетном месте. Горкин садится возле Пискуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с мочеными яблоками, поросенка с кашей, драчену на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись, только певчий грызет пороссячью голову и просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василь-Василич просит – «Сеня, прогреми „дому сему“, утешь!» Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, – «а то не вместит». И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова! Барин целует его в «сахарные уста» и обнимает. Двое молодцов вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пискун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову свою и поет в потолок так тонко-нежно – «Близко города Славянска... наверху крутой горы»... Все в восторге и удивляются: «откуда и голос взялся! водочка-то что делает!»... Потом они с баринком поют удивительную песню —

Вот барка с хлебом пребоольшая,
Кули и голуби на ней,
И рыба-ков... бо... льшая... ста-ая...
Уныло удит пескарей.

Горкин поднимает руки и кричит – «самое наше, волжское!». И Цыган пустился: стал гейкать и так высвистывать, что Пашенька убежала, крестя нас всех. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубаше, с позументом. Горкин мне шепчет: «помрет скоро, последний градус в чахотке... слушай, как играет!» Все затихают. И уж играл Петька-гармонист! Играл «Лучинушку»... Я вижу, как и сам он плачет, и Горкин плачет, теребя меня, и все уговаривая – «ты слушай, слушай... ростовское наше!..» И барин плачет, и Пискун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь: «лу-учи-и-и-нушка...», – и я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые, светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут, о чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, а они плачут! Потом барин начинает махать рукой и затягивает «Вниз по матушке по Волге». Поют хором, все, и Василь-Василич, и Горкин. А окна уже синют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит после обеда, измёрзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. Оттого, что у ней сын мошенник? Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке – высокая на ней башенка с орлом. И все вздыхает:

– Выкормышек мой, растешь...

От ее слов у меня перехватывает дыханье, и по привычке, я прячу голову в ее колени, в холодную ее кофту, в стеклярусе.

Глубокий вечер. Я сижу в мастерской, пустой и гулкой. Железная печка полыхает, пыхает по стенам. Поблескивают на них пила. Топят щепой и стружкой. Мы – скорняк, Горкин, Василь-Василич и я – сидим на чурбачках, кружочком, перед печкой. Солдат храпит в уголке на стружках. С ним и Пискун улегся: не пустили его, а то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с Цыганом – куда-то покатили. А мороз за двадцать градусов: долго ли ему замерзнуть!

Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. Я знаю. Он рассказывал еще летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то, совсем молодым еще. Он

любит рассказывать про это, как три года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник, украдкой, на чердаке, чтобы подарить Глафире, а она вышла замуж за другого. Вот, теперь он старый, похож на вылезшую половую щетку, а все помнит. Так Горкин и говорит ему:

– Волосы повылазили, а ты все про свой воротник! Ну-ну, рассказывай. Хорошо умеешь рассказывать.

Просит и Василь-Василич, посовелый. Покачивается и все икает.

– ...и вот, вошла она, Глафира... розовая, как купидом. И я к ней пал! К ногам красавицы. И подал ей лисий воротник! Так вся и покраснела, а потом стала белая, как мел. И говорит: «ах, зачем вы... так израсходовались!»

И пал я к ее ногам, как к божеству. И вот, она облила меня слезьми... и говорит как из-за могилы: «ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я, к великому моему сожалению, обретаюсь с другим человеком, увы!» А жила она с буфетчиком. – «Но неужто, говорит, вы и сам деле могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу преступить?! Как, говорит, вам не совестно! Как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей!...»

И скорняк сильно покачивается. Василь-Василич говорит:

– Значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой, чего теперь жалеть! Так и не взяла воротника-то?

– Взяла. И приходит тут буфетчик, и они стали меня поить сельтерской, а то я очень страдал.

– Сельтерской... на что лучше! – говорит Василь-Василич.

– ...и вот выхожу я из покоев на снег... а костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных, по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот, молодой лакей подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. – «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафире? Это мне доподлинно известно. Я, говорит, сам не сплю все ночи и уж иссох». А он, правда, в злой чахотке был. – «Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь к красавице, которая... невольно губит своей красотой всякого приближающегося даже при благородном своем характере!...»

Он долго рассказывает. Горкин предлагает: пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притчи премудрости скажется?.. Но никто не отзывается. От печки пышет, глаза слипаются.

– Снесу-ка я тебя, пора, намаялся... – говорит Горкин, кутает меня в тулупчик и несет сениями.

Через дверь сеней я вижу мигающие звезды, колет морозом ноздри.

Я в постельке. Все лица, лица... тянутся ко мне, одни, другие... смеются, плачут. И засыпаю с ними. Со мной, как будто, – слышу я шелест сарафана, стук бусинок! – моя кормилка Настя, шепчет: – «выкормышек мой, растешь...» Почему же она все плачет?..

Где они все? Нет уж никого на свете.

А тогда, – о, как давно-давно! – в той комнатке с лежанкой, думал ли я, что все они ко мне вернуться, через много лет, из далей... совсем живые, до голосов, до вздохов, да слезинок, – и я приникну к ним и погрузу!..

Круг царя Соломона

Уехали в театр, а меня не взяли: горлышко болит, да и совсем не интересно. Я поплакал, головой в подушку. Какое-то «Убийство Каверлея», – должно быть, очень интересно, страшно. Потом погрыз орешков – ералаш: американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые... Всегда на Святках ералаш, на счастье. Каждому три горсти, – какие попадутся. Запустишь руку, поерошишь, – американских бы побольше, грецких и миндальных! А горсть-то маленькая, нехватишь, и все торопят: «ты не выбирай!» Всегда уж: кто побольше – тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут – Святки, а как будто будни. В зале елка,

вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов... можно бы обсосать немножко, не заметят, – но там темно. Дни теперь такие... «Бродят они, как без причалу!» Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там, в зале...

Я всматриваюсь в коридор: что-то белеет... печка? Маятник стучит в передней, будто боится тоже: выходит словно – «что-то... что-то... что-то...». В кухню убежать? И в кухне тихо, куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, – будто не хохолок, а рожки?.. Дни такие, а все куда-то провалились. И лампу привернули, – будто и она боится. Солдатики расставить? Что это... ручкой двери?.. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там ступает, храпит?.. Нет, это у меня в груди, от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то, темное лицо... – мороз?

– Ня-ня-а!.. – кричу я в страхе.

Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать. Но страшно: темно, в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает: возьмут – и... Горкину в мастерской недавно... плотник Мартын привиделся! «Им крещеный человек теперь... зарез!» Самая им теперь жара, некуда податься. Святки. К Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться...

Вдруг – тупп! Щелкнуло как в зале?.. Конфетина упала с елки... сама? Балуют...

В темном коридоре, в глубине – как будто шорох. В углу у печки – кочерга, железная нога, вдруг грохнется? Ночью недавно так... Разводы на буфете, будто лица, смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает. Все начинает шевелиться. Боммм... Часы!.. шесть, семь, восемь. А все куда-то провалились. Кот это? Идет по коридору, светится глазами. А вдруг не Васька? Если покрестить... Крещу, дрожа. Нет, настоящий.

– Вася-Вася... кис-кис-кис!..

Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком, – к гостям. А все куда-то провалились. И нянька, дура.

Трещит на кухне дверь с морозу, кто-то говорит. Ну, слава Богу. Входит нянька. На платке снежок.

– Куда ходила, провалилась?..

– Ряженных у скорняков глядела. Не боялся, а?

– Боялся. Все-то провалились...

– Не сердчай уж. На, сахарного петушка.

Ряженных глядела, а я сиди. Это ничего, что кашель. И в театры не взяли. Маленький я, вот все и обижают. Горкин один жалеет.

– К Горкину сведи.

– Эна, он уж давно полег. Ужинай-ка, да спать.

– Няня, – прошу я, – нынче Святки... сведи уж ужинать на кухню, к людям.

Не велено на кухню, но она ведет.

На кухне весело. Бегают прусачки по печке, сидят у лампочки – все живая тварь! Приехал из театров кучер – ужинать послали. Говорит – «народу, прямо... не подъедешь к кеятрам! Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, поотпустит, снежком запорошило». Пахнет морозом от Гаврилы и дымком, с костров. Будто и театром пахнет.

– Нонче будут долго представлять. Все кучера разъехались. К одиннадцати велели подавать.

Тут и старый кучер, Антипушка, – к обедне только теперь возит. Рассказывает, как на Святках тоже в цирки возил господ, старушку чуть не задавил, такая метель была-а... праздники, понятно. И вдруг – вот радость! – входит Горкин. Василь-Василичу Косому и ему – харчи особые. Но сегодня Святки, Василь-Василич в Зоологическом саду, публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно, вот и пришел на кухню, к людям.

Его усаживают в угол, под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь – другой, не строгий: в ситцевой рубаше и жилетке, на шее платочек розовый. Он сухенький, с

седой бородкой, как святые. «Самый справедливый человек», но только строгий. А со мной не строгий. При нем, когда едят, не смейся. Пальцем погрозится – и затихнут. Меня усаживают рядом с ним, на хлебный закромок, повыше. Рядом со мной Антипушка. Потом Матреша, горничная, «пышка», розы на щеках. Дворник Гришка, «пустобрех-охальник». Гаврила-кучер, нянька. Старая кухарка, с краю. Горкин не велит щипать Матрешу, грозит: «беса-то не тешь за хлебом!»

– Сама щипается, Михал Панкратыч... – жалуется Гришка. – Я как монах!

Матреша его ложкой по лбу – не ври, брехала!

Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне: огромный, все лицо закроешь.

– С хлебушка-то здоровее будешь, кушай. И зубки болеть не будут. У меня гляди, – какие! С хлебца да с капустки.

Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку, «от Троицы». У ней на спинке церковки с крестами, а где коковка – вырезана ручка, «трапезу благословляет», так священно. Вкусная, святая ложка. Щи со свининой – как огонь, а все хлебуют. Черпают из красной чашки, несут ко рту на хлебе, чтобы не пролить, и – в рот, с огнем-то! Жуют неспешно, чавкают так сладко. Слышно, как глотают, круто.

– Носи, не удавай! – толкает Горкин. – Щи-то со свининкой, Рождество. Вкусно, а? То-то и есть. Хлебушком-то заминай, потуже.

Отрезывает новые ломти. Выхлебали все, с подбавкой. Горкин стучит по чашке:

– Таскай свининку, по череду!

Славно, по порядку. И я таскаю. На красном деревянном блюде дымится грудa красной солонины. Миска огурцов солевых, елочки на них, ледок. Жуют, похрустывают, сытно. Горкин и мне кладет: «поешь, с жирком-то!» Я стараюсь чавкать, как и все. Огурчика бы?..

– В грудке у тебя хрипит, нельзя огурчика.

Жуют, молчат. Белая, крутая каша, с коровьим маслом. Съели. Гаврила просит подложить. Вываливают из горшка остатки.

– Здоров я на еду! – смеется кучер. – Еще бы чего съел... Матрешу разве? Али щец осталось...

– Щец вылью, доедай... хорошая погода станет, – говорит кухарка.

– А, давай. Морозно ехать.

Горкин встает и молится. И все за ним. И я. Сидят по лавкам. Покурить – уходят в сени.

– Святки нонче, погадать бы, что ли? – говорит Матреша. – Что-то больно жарко...

– С жиру жарко, – смеется Гришка. – Ай, в короли схлестаться? Ладно, я те нагадаю:

Гадала, гадала.

С полатей упала,

На лавку попала,

С лавки под лавку,

Под лавкой Савка,

Матреше сладко!

– Я б тебе нагадала, да забыла, как собака по Гришке выла!

– Будет вам грызться, – говорят строго Горкин. – А вот, погадаю-ка я вам, с тем и зашел. Поди-ка, Матреш, в коморку ко мне... там у меня, у божницы, листок лежит. На, ключик.

Матреша жмется, боится идти в пустую мастерскую: еще чего привидится.

– А ты, дурашка, сернички возьми, да покрестись. Мартын-то? Это он мне так, со сна привиделся, упокойник. Ничего, иди... – говорит Горкин, а сам поталкивает меня.

Матреша идет нехотя.

– Вот у меня Оракул есть, гадать-то... – говорит Гаврила, – конторщик показать принес. Говорит – все знает! Оракул...

Он лезет на полати и снимает пухлую трепаную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовая дама в пушистом платье и с голыми руками, перед ней золотое зеркало на столе и две свечки, и в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать – никто не знает. Написано между спицами – «Рыбы», «Рак», «Стрелец», «Весы»... Только мы двое с Горкиным грамотные, а как надо гадать – не сказано. Я читаю вслух по складам:

«Любезная моя любит ли меня?», «Жениться ли мне на богатой да горбатой?», «Не страдает ли мой любезный от запоя?»... И еще, очень много.

– Глупая книжка, – говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то. Шепчет:

– Что будет-то, слушь-ка... Матреша наша сейчас...

Вдруг раздается визг, в мастерской, и с криком вбегает, вся белая, Матреша.

– Матушки... черт там, черт!.. ей-ей, черт схватил, мохнатый!..

Все схватываются. Матреша качается на лавке и крестится. Горкин смеется:

– Ага, попалась в лапы!.. Во, как на Святках-то в темь ходить!..

– Как повалится на меня из двери, как облапит... Не пойду, веки не пойду...

Горкин хихикает, такой веселый. И тут все объясняется: скрутил из тулупа мужика и поставил в двери своей каморки, чтобы напугать Матрешу, и подослал нарочно. Все довольны, смеется и Матреша.

– На то и Святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон Премудрый! Со старины так гадают. Нонче не грех гадать. И волхвы гадатели ко Христу были допущены. Так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась.

– Уж Михайла Панкратыч по церковному знает, что можно, – говорит Антипушка.

– Не воспрещается. Царь Саул гадал. А нонче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать... в баню там ходят в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, ну и открывает судьбу. А мы, крещенные, на круг царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное.

Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок, с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучики к краям; в конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик.

– А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон... загадывай кто чего?

– Погоди, Панкратыч, – говорит Антипушка, тыча в царя Соломона пальцем. – Это будет царь Соломон, чисто месяцц?

– Самый он, священный. Мудрец из мудрецов.

– Православный, значит... русский будет?

– А то как же... Самый православный, святой. Называется царь Соломон Премудрый. В церкви читают – Соломонов чтение! Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На Матрешу. Боишься? Крестись, – строго говорит Горкин, а сам поталкивает меня. – Ну-ка, чего-то нам про тебя царь Соломон выложит?.. Ну, швыряю...

Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывается по лучику. Все наваливаются на стол.

– На пятерик упал. Сто-ой... Поглядим на задок, что написано.

Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучинки-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. Зачем?

– А ну-ка, под пятым числом... ну-ка?.. – водит Горкин пальцем, и я, грамотный, вижу, как он читает... только почему-то не под 5: «Да не увлекает тебя негодница ресницами своими!» Ага-а... вот чего тебе... про ресницы, негодница. Про тебя сам Царь Соломон выложил. Не-хо-ро-шо-о...

– Известное дело, девка вострая! – говорит Гришка.

Матреша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят: правда, сам царь Соломон, уж без ошибки.

– А ты исправься, вот тебе и будет настоящая судьба! – говорит Горкин ласково. – Дай зарок. Вот я тебе заново швырну... ну-ка?

И читает: «Благонравная жена приобретает славу!» Видишь? Замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще? Гриша желает...

Матреша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках.

– А ну, рабу божью Григорию скажи, царь Соломон Премудрый...

Все взвизгивают даже, от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится.

– Семерка показана, сто-ой... – говорит Горкин и водит по строчкам пальцем. Только я вижу, что не под семеркой напечатано: «Береги себя от жены другого, ибо стези ея... к мертвецам!» – Понял премудрость Соломонову? К мертвецам!

– В самую точку выкаталось, – говорит Гаврила. – Значит, смерть тебе скоро будет, за чужую жену!

Все смотрят на Гришку задумчиво: сам царь Соломон выкатал судьбу! Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо:

– Прокинь еще, Михал Панкратыч... может, еще чего будет, повеселей.

– Шутки с тобой царь Соломон шутит? Ну, прокину еще... Думаешь царя Соломона обмануть? Это тебе не кварталный либо там хозяин. Ну, возьми, на... 23! Вот: «Язык глупого гибель для него!» Что я тебе говорил? Опять тебе все погибель.

– Насмех ты мне это... За что ж мне опять погибель? – уже не своим голосом просит Гришка. – Дай-ка, я сам швырну?..

– Царю Соломону не веришь? – смеется Горкин. – Швырни, швырни. Сколько выкаталось... 13? Читать-то не умеешь... прочитаем: «Не забывай етого!» Что?! Думал, перехитришь? А он тебе – «не забывай етого!».

Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго:

– На святое слово плюешь?! Смотри, брат... Ага, с горя! Ну, Бог с тобой, последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели исправишься. Ну, десятка выкаталась: «Не уклоняйся ни направо, ни налево!» Вот дак... царь Соломон Премудрый!..

Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И я начинаю понимать: про Гришкино пьянство это.

– Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо! – наставляет Горкин и все смеется.

Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что «кнут на коня, а палка на глупца». Потом няне. Она сердится и уходит наверх, а Горкин кричит вдогонку: «Сварливая жена как сточная труба!»

Царя Соломона не обманешь. И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку: «не давай дремать глазам твоим».

Все смеются и тычут в слипающиеся мои глаза: вот так царь – Соломон Премудрый! Гаврила схватывается: десять било! Меня снимают с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх. Милые Святки...

Я засыпаю в натоленной жарко детской. Приходят сны, легкие, розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе. И милый Горкин, и царь Соломон – сливаются. Золотая корона, в блеске, и розовая рубашка Горкина, и старческие розовые щеки, и

розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства...

Звонок, впросонках. Быстрые, крепкие шаги, пахнет знакомым флердоранжем, снежком, морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет – «спишь, капитан?». И чувствую я у щечки тонкий и сладкий запах чудесной груши, и винограда, и пробковых опилок...

Василий Никифоров-Волгин

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

– Если принесёшь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я её на пятерку исправлю... За арифметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – её тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

– Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

– Пока нет, но скоро услышу!

– Когда же?

– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

– Ты чего губы надул? – спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и ещё пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку... Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь Пресущественного рождает», и вместо «волсви же со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал:

– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:

– Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.

– Ничего. Пальцы я отморозил.

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олеть в такую зябь!

И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всеобщей в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

– Я видел на небе рождественскую звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

– Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и отдельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.